

Осенью семьдесят седьмого года в Дивногорске проводилось краевое совещание молодых писателей. В подобных официальных мероприятиях я ни разу не участвовал. С красноярскими поэтами к тому времени был более-менее знаком, но предстояло увидеть пишущую братию со всего края. Уже на пристани обратил внимание на коренастого бородача, который густым весёлым баритоном просил кассиршу продать ему детский билет, поскольку является детским поэтом. Это был Эдуард Нонин. Вечером в гостинице, когда семинаристы, позванивая бутылками, кучковались по компаниям, бородач остановил меня в коридоре, представился, абсолютно уверенный, что я обязан о нём слышать, а я действительно знал: «К насекомке-незнакомке подкатился насеком...» Он ответил любезностью, сказав, что давно слышал обо мне, но, скорее всего, соврал; полагаю, заинтересовала его моя дремучая бородатость. Номер, в который он меня привёл, был забит до отказа и уже прокурен. Из красноярцев помню Третьякова, который на семинарах давно не обсуждался, но приехал, как теперь принято говорить, потусоваться. За столом и на кроватях сидели в основном норильчане. Помню, как мрачноватый Бариев, брезгливо отодвинув полстакана портвейна, проворчал, что на половинки не разменивается, и потребовал долить. Молодое и симпатичное лицо Людэ Знаевой затушевалося временем, но на всю жизнь поселилась в памяти её строка: «Самая сладкая мука — голос твой выставить вон».

Когда мы пришли в номер, компания обсуждала недавнюю подборку Евтушенко. Разумеется, поругивали — как же не поглумиться над знаменитостью? Лузан был азартнее других. Конъюнктура всегда выводила его из себя. Потом мне приходилось видеть, как он взрывается на какого-нибудь пошляка или хама, но к тем, кого любил, он относился с удивительной нежностью. Дошла очередь и до ритуального чтения стихов по кругу, и он выбрал:

Загуд норильских поэтов

Опять вино несёшь не нам!

Официант, стой!

Ты что, не знаешь Нонина?!

Так это новый Ной.

Ты что, не знаешь Знаеву?

Как смеешь?! Бога в мать!

А классика Бариева

Ты просто должен знать!

Когда прекрасно-сумрачный

Передо мной стакан,

Нет смысла пить из рюмочек, —

Так думает Лузан.

Извольте, Рим Ивановна...

Сядь ближе, Натали...

Уже доел Бариев

Стих в соусе зари.

И белый город Нонина

Сейчас начнёт свежеть.

Готовятся поклонницы

Осмыслить неглиже.

Дым оседает сгустками.

Одна на шестерых,

Сквозит беспечность грустная,

Похожая на стих.

Потом, по снежным улицам,

Плечом к плечу — в загул...

Но каждый знал, что он уже

В Историю шагнул.

Полагаю, что именно это стихотворение прочитано было не случайно. Оно звучало призывом к дружбе и скрытым объяснением в любви к своим товарищам. Но в поэтических застольях всегда можно наткнуться на кривую ухмылку. Пафос последней строки явно не устраивал Третьякова. Не верил Анаголий Иванович, что кто-то из той компании (кроме него) шагнёт в историю. Намного скромнее были запросы и у Нонина. Его устраивало, что именем его назовут даже не улицу, а какой-нибудь подъезд. Старшие товарищи уже научились не допускать в тексты честолюбивые амбиции. В тексты, но не в общение. А Лузан был распахнут во всё — и в стихах, и в быту.

С Нониним у него был затянувшийся спор. Мне казалось, что это подсознательная борьба за место вожака. Но, с другой стороны, подобного не замечалось в его отношениях с Бариевым. И только много лет спустя Люда Знаева, о которой Лузан говорил: «Она для меня не сестра,

а брат», — рассказала, что при знакомстве Лузана с норильским литобъединением Нонин засомневался в авторстве прочитанных гостем стихов и пристыдил молоденького поэта. Чуть до драки не дошло. Чтобы опровергнуть обвинение, Лузану пришлось писать стихи на заданную тему. Но Серёжа злопамятным не был. Да и «травоядным» его не назовёшь. Их долгую распрю определяло не отношение к стихам друг друга, а отношение к жизни. Нонин вёл себя всего лишь как поэт, а Лузан — как мужик.

Семинар отшумел. Приехавшие из Москвы мастера с удивлением открыли для себя обилие талантов, произрастающее на сибирской земле, запротоколировали в отчёте, кого надо срочно издать отдельными книжками, кого включить в состав «кассеты», кого поощрить публикацией в альманахе «Енисей». Отдали протокол организаторам семинара и улетели. Однако работникам местного издательства показалось, что авансы излишне щедрны, и они ограничились выпуском поэтической «кассеты» из десяти брошюр. Самая объёмная насчитывала сорок восемь страниц, автором которой оказался директор местного издательства. Самая тоненькая (шестнадцать страниц) досталась Людмиле Мазуровой, которая в процессе обсуждения получила изрядную долю комплиментов и от руководителей семинара, и от слушателей.

Норильские поэты были приняты очень тепло, но в кассету попал единственный норильчанин — Юрий Бариев. Очередь до Лузана дошла через пять лет. И даже не в «кассете», а в тесном коллективном сборничке, которые принято называть «братской могилой».

После семинара мы долго не виделись. Когда я прилетал в Норильск, Лузан шлялся по своей тундре, а его визиты в Красноярск досадно совпадали с моими командировками. Встретились в середине девяностых, но это был уже не тот молоденький поэт с кудрявой чёрной шевелюрой, а матёрый седой мужик, не растолстевший, но раздавшийся в плечах, излучающий мощную физическую силу, хотя и не отличался могучими габаритами. В Норильске к этому времени его стали звать Лузанище (и не только «за глаза»).

Повзрослел, но характером не изменился. По-прежнему шумный, по-прежнему категоричный. Казалось бы, не самые приятные человеческие качества, но Лузану они совсем не мешали, не отдаляли его от людей, а, наоборот, притягивали к нему, потому как его категоричность была всего лишь естественным проявлением страстной натуры. В ней полностью отсутствовало высокомерие. Полагаю, что взрывной характер принёс ему много неудобств, но нормальные люди быстро прощали ему обиды, понимая, что в горячности его напрочь отсутствует подлость. В каком-то

затяжном визите в Красноярск он проживал у земляка-норильчанина. Собралась поэтическая компания. Дошло до чтения стихов. Когда настала очередь хозяина квартиры, он уверенным голосом, даже с артистизмом, прочитал пару стихотворений из любовной лирики и собирался продолжить, но поднялся хмельной Лузанище и гаркнул:

— И ты смеешь при мне читать эту пошлую графоманию? Вон отсюда!

Он даже забыл, в чьей квартире сидит и где ему предстоит ночевать. Хозяин вышел на кухню и ждал, когда разойдутся гости. Лузан не уехал. Извинился. Помирились. А мужчина был серьёзным специалистом, и Лузан всегда с восторгом отзывался о нём, потому что уважал профессионалов. К сожалению, очень много хороших и даже умных людей пишут плохие стихи, не понимая этого.

В тот наезд на Красноярск он привёз «Гнездовье вьюг», книгу, которую без натяжки можно назвать антологией заполярной поэзии. В неё вошла большая подборка (на полторы тысячи строк) его стихов. И это была первая крупная публикация. А поэту подкатывало под пятьдесят.

Залежавшиеся в столе стихи подталкивают к прозе. И она появилась. При насыщенности его жизни она обязана была появиться. В неё хлынуло всё то, что не умещалось в стихи. Он и в стихах-то не испытывал особого уважения к канонам, а в прозе освобождённая страсть хлынула через все запруды. Без влюблённости в свою тундру, своих собак и своих волков подобную прозу не напишешь. У него даже пейзаж переполнен страстью, и уникальные подробности этого пейзажа — тоже продукт страсти в первую очередь, а уже во вторую — опыта бывалого промысловика.

В 2002 году вышло главное прозаическое детище Лузана — книга «Стая», которую тоже можно назвать антологией заполярной прозы. При его авторитете в Норильске он мог бы хлопотать только за себя и благополучно выпустить авторскую книгу. Мог бы, но не стал, потому что, в отличие от многих собратьев по перу, никогда не был эгоистом. А в результате норильчане узнали о прекрасных прозаиках: Татьяне Беглецовой, Викторе Самуйлове, Владимире Эйснере... Книга получилась солидная, с прекрасными иллюстрациями коренных северян: нганасанина Мотюмяку Турдагина и долганина Бориса Молчанова. Хочется заметить, что с коренными жителями Севера у Лузана были особо тёплые отношения. Большинство русских писателей изучало их как младших братьев, а Лузан нежно любил и считал их мудрее нас.

«Стая» пока остаётся наиболее полным изданием его рассказов. Но его проза достойна не меньшего внимания, нежели стихи.

Когда Юрий Беликов уломал-таки московскую газету «Трибуна» выделить страницу под рубрику

«Приют неизвестных поэтов» и спросил меня, кого из сибиряков не только можно, но и нужно напечатать, первый, о ком я подумал, был Лузан. Я позвонил в Норильск и передал адрес, по которому надо переслать стихи. Дисциплиной в этих делах безалаберный северянин не отличался, и я был внутренне настроен недельки через две напомнить ему. Но напоминать не пришлось. Рукопись дошла до Беликова. А в те годы электронной почты ни у кого из нас не было. Лузан словно почувствовал, что отсылает стихи туда, где их действительно ждут, где готовы их понять и принять. Предчувствие не обмануло. Беликову они очень даже глянулись, и он заявил, что теперь поэзию надо измерять в «лузанах». Его притягивали не только тексты, но и судьба поэта. В предисловии к «Дикороссам» он писал: «...Парадокс в том, что, предложи в своё время таймырскому охотнику Лузану махнуть судьбами с „фрахтающими парижанами“ (те-то, понятно, с Лузаном ни проживанием, ни планидой ни за что бы не махнулись!), а ведь, почесав в затылке да похмыкав, таймырский охотник-поэт отказался бы от этого облазна. Да ещё бы прибавил: „Незавидная у них участь! На том-то свете что они делать будут?!“»

Кстати, задолго до того, как сам Лузан прочитал эту статью, он говорил мне, что его сын живёт на озере Балатон, зовёт к себе, а у него ни малейшего желания, он даже представить не может, чем там будет заниматься. Юра Беликов словно подслушал наш разговор. И неудивительно, точно так же он подслушал потаённые ноты в музыке стихов Лузана «Белло прорифмованные, красные от мороза (есть белый стих, а есть красный стих), наполненные брёхом собачьих упряжек и дрожью полиэтилена вместо раздавленного медведем стекла творения Сергея Лузана (вот тут я спотыкаюсь, ища прижизненных уподоблений, и не нахожу) разве что сопоставимы с поэтическим примером Велимира Хлебникова».

Откройте классика и сравните с лузановскими строками.

...Идёт пурга.
Во мгле сияет шкура
От Нянуто до солнечной Карги.
Хей во! Пора спешить.
Мы на ходу прикурим
От голубого пламени пурги.
Ремень дарю. Нож оставляю. Надо.
Всё может быть... Дорога далека.
По февралю гуляют волчьи свадьбы.
Пусть рукоятку чувствует рука.
В дорогу, Йрембо!
Пурга зовёт в дорогу...

Есть, конечно, что-то от Хлебникова. Стихия, не поддающаяся ни шлифовке, ни правке. Она захватывает читателя (а слушателя тем более) помимо

его воли. Здесь уже не до того, чтобы оценивать точность рифм и выверенность размера. Но для меня Лузан ассоциируется больше с Юрием Белашом, автором лучших стихов о войне, к сожалению, малоизвестным. Их объединяют жёсткий реализм и полное отсутствие необязательных стихов, ну и, к сожалению, некоторая корявость. Но Лузан всё-таки темпераментнее Белаша.

Помнится, Анатолий Кобенков в 2000 году устроил в «Иркутском времени» анкетирование, в котором был вопрос о термине «сибирская поэзия». Понятие, на мой взгляд, расплывчатое, но, тем не менее, самым органичным сибирским поэтом я назвал Сергея Лузана. Дело вовсе не в прописке, не в обилии сибирских реалий, а в духе, которым насквозь пропитаны стихи Лузана.

В 2014 году Нвард Авагян перевела на армянский и смогла издать антологию «Дикороссов». Акция по нашим временам, не побоюсь пафосного слова, героическая. Но не обошлось и без казуса. Беликов, когда скликал «дикоросскую» ватагу, попросил нас, чтобы фото были по возможности не казёнными. Лузанище прислал снимок с добытым волком на плече. У переводчицы не было книги под рукой, тексты брала из Интернета. Оттуда же и фотографии авторов. И в результате перед именем «Сергей Лузан» оказался не магёрый мужик с волком на плече, а ухоженный господин в галстук. Самое парадоксальное, что переводчицу нельзя обвинить в невнимательности. Оказывается, что на «Стихире» задолго до настоящего Лузана обосновался и процветает его однофамилец и тезка, выложил там более тысячи (!) стихиков сатирического содержания и собрал около 150 000 (!!!) читателей. Статистика настоящего поэта выглядит совсем сиротской. На то и Лузанище, чтобы кто-то обязательно мешал его стихам пробиться к людям. Он так и не освоил компьютера. Руки его, привыкшие к карабину (или стакану), боялись клавиатуры. Пробьётся ли его поэзия к новому электронному читателю? Боюсь прогнозировать. Впрочем, эти сомнения относятся ко всей настоящей поэзии.

В наше время прожить на пенсию в Норильске практически невозможно. Пришлось откочёвывать на «материк». Отработав почти всю жизнь в Заполярье, никаких золотых запасов он, естественно, не создал, а если бы и накопил, Гайдар со товарищи превратили бы их в пригоршню медяков. Благодаря заботам жены Маргариты они купили всё-таки жильё в псковской провинции. Я предупредил его, что люди в маленьких городишках центральной России добрые, но осторожные, и его северные замашки могут перепугать их. Позволит пару «выступлений», покроет матом какого-нибудь чиновного дурака — и останется в глубокой изоляции, потому что, в отличие от Севера, улицы в этих городишках слабо проветриваются.

Напрасно пугал. Судя по телефонным разговорам, прижился без особых напрягов. Даже работу нашёл. Устроился егерем. Хотя всю жизнь, как большинство северных охотников и рыбаков, называл себя браконьером (или бракушником). Догадываюсь, что его опыт промысловика был более чем авторитетен для псковских мужиков. Я даже вижу его в окружении псковарей, травящего байки у вечернего костерка со стаканом в руке. Должность обязывала. Доходило до стычек и угроз, только пугать Лузана — себе дороже.

Вроде прижился, но последние три-четыре года перестал выходить на связь. Мы с Задереевым решили, что потерял телефон, а электронкой пользоваться так и не научился. И вдруг звонок из Калужской области от Серёжи Смирнова (тоже норильчанина): умер в больнице от рака.

Мне уже доводилось хоронить друзей после этой болезни. Видел их муки, но никак не могу представить немощного Лузана на больничной койке.

Не могу и не хочу.